

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

КНИГИ
ИРИНЫ МУРАВЬЁВОЙ —
ПОДЛИННОЕ УКРАШЕНИЕ
ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ,
ИЗЫСКАННАЯ ПРОЗА
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
В ЛИТЕРАТУРЕ:

- Любовь фрау Клейст
- Веселые ребята
- Портрет Алтовити
- День ангела
- Напряжение счастья
- Сусанна и старцы
- Жизнеописание грешницы Адели
- Отражение Беатриче
- Страсти по Юрию
- Вечер в вишневом саду
- Полина Прекрасная
- Райское яблоко
- Соблазнитель
- Имя женщины — Ева
- Ты мой ненаглядный
- Дневник Натальи
- Елизаров ковчег
- Младенческие опыты женщины
- Шестая повесть И.П. Белкина

Семейная сага «Я вас люблю»:

- Барышня
- Холод черемухи
- Мы простимся на мосту

ИРИНА
МУРАВЬЁВА

ИМЯ
ЖЕНЩИНЫ –
ЕВА



МОСКВА
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М91

Художественное оформление серии *А. Старикова*

Муравьева, Ирина Лазаревна.

М91 Имя женщины — Ева / Ирина Муравьева. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 288 с. — (Любовь к жизни).

ISBN 978-5-699-91137-0

Закончилась Вторая мировая война. Ленинградский подросток Гриша Нарышкин, угнанный в Германию, становится Гербертом Фишбеином, жителем Нью-Йорка и мужем Эвелин Тейдж, решительной, чистосердечной и красивой. Но брак, как утверждал Гиппократ, это лихорадка наизуворот: он начинается жаром и кончается холодом. На московском фестивале 1957 года Герберт Фишбейн встречает женщину с библейским именем Ева.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-91137-0

© Муравьева И., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э»,
2016

ЧАСТЬ I

1

Н еделю они держали оборону провинции Пусан, где каждое утро сияла трава с каким-то особенным розовым отсветом, в реке осторожно и мягко сплетались прожилки травы и неяркого солнца. Седьмое подразделение обороняло землю «утренней свежести», как называли ее сами корейцы, и красная кровь не сразу впитывалась почвой, а долго держалась на поверхности, пока сваливающийся с неба дождь не смывал эти темные, с терпким запахом, извилистые углубления, в которых она застаивалась.

Они держали оборону, а с гор ползла лавина плосколицых врагов, которых они подкашивали своими бомбометами, и враги падали, изрешеченные осколками, с оторванными конечностями, что сразу укорачивало их, так что издалека многие из упавших казались уже не взрослыми людьми, а мальчиками лет десяти или двенадцати.

Они держали оборону провинции Пусан, но эту медленную стекающую с горы лавину было не остановить.

Плосколицие воины ползли и ползли на них сверху, число их не убывало, и однажды Фишбейн вдруг заснул прямо там, где лежал и стрелял, — заснул не больше чем на одну минуту, и во сне вдруг почувствовал себя рыбой, высунувшей голову на поверхность и насмерть испугавшейся всего, что увидели ее выпученные, с сизой пленкой, глаза.

Через неделю после начала отступления Фишбейн взял в жены Джин-Хо, Драгоценное Озеро.

— Как зовут твою женщину? — серыми запекшимися губами спросил его Марвин, которого на носилках укладывали в машину, чтобы везти на самолет и переправлять в госпиталь. — Ты говоришь, что у тебя новая женщина?

Марвин делал вид, что через несколько дней он поправится, вернется и будет опять воевать, поэтому и Герберт Фишбейн ответил ему так, как если бы Марвин не лежал на носилках с развороченными внутренностями, а просто сидел на земле.

— Она пахнет озером в теплые дни, — ответил он Марвину. — Джин-Хо — Драгоценное Озеро.

— Красиво. Ну, радуйся, брат. Вернись — познакомишь.

Он умер через пару дней, а через неделю Фишбейну привезли из госпиталя записную книжку и связку писем, которые хранились в личных вещах Марвина. Все письма были от Сузи МакКейн и там же была фотография Сузи, веселой, с густой, круто завитой челкой, подписанная

фиолетовыми чернилами: «Тебе, милый Марвин. Скорей возвращайся». Число и год: 13 марта 1950 года. Фишбейн нашел адрес Сузи в записной книжке Марвина и написал коротко: «Дорогая Сузи, Марвин умер героем. И он вас любил до последнего часа». Она ничего не ответила.

Все родные Джин-Хо были убиты северянами. Вместе с остальными двадцатью двумя женщинами, стариками и детьми они лежали на раскисшей после ночного дождя глине. Все были босыми, руки и ноги для чего-то связаны проводом. Священник из седьмого подразделения, такой худой, что шея его, вся в пупырышках, была похожа на куриную и с трудом держала на себе большую седую и старую голову, отслужил заупокойную и, крепко зажмурив глаза, прошептал:

— Прими их, Господь!

Пришли два солдата с лопатами, и тут маленькая, худенькая Джин-Хо бросилась на мертвое тело матери, собою накрыла его и застыла. Ее волосы отсвечивали синовой под только что выступившим на небе солнцем. Фишбейн насильно оторвал ее от убитой, взял на руки и принес в палатку. Джин-Хо показалась ему невесомой. Лицо ее было не желтым, не смуглым, как у большинства азиатов, а нежно-молочным, слегка розоватым, словно она умывалась парным молоком, в котором растворились несколько капель вишневого сока. У пота Джин-Хо был особенный запах, и ночью, когда он любил ее, запах стал словно отдельной частицей любви.

Она не знала ни одного английского слова, но это не помешало ей привязаться к Герберту Фишбейну и чувствовать себя его женой. Седьмое подразделение отступало под проливным дождем, и Джин-Хо с прилипшими к ее круглым плечам ярко-черными волосами и склеившимися мокрыми ресницами шла следом за ним с группой беженцев.

Американские солдаты не хотели умирать и не понимали, почему именно они должны умирать, если узкоглазые люди на юге маленькой страны не могут договориться с точно такими же узкоглазыми людьми на севере этой страны. Они отступали от собственной смерти, следы их сапог размывало дождями, и рисовые поля, погруженные в глубокую воду, шептали одно шелковистое слово, короткое, кроткое слово *хаки*, что значит *иди, уходи* на корейском.

Ночью, когда солдатам давали поспать три-четыре часа, Фишбейн пробирался к палаткам беженцев, и Джин-Хо выныривала к нему из темноты, словно рыбка из ручья. Он обнимал ее, и от движения ее ресниц, которые вздрагивали на его щеке или губах, у Герберта сразу мутился рассудок. Онпил влагу Драгоценного Озера, жены своей, нежной Джин-Хо, и не уставал наслаждаться ее этой круглой и маленькой грудью, ее животом, выскальзывающим из руки в ту минуту, когда они вдруг замирали на мокром плаще, опять подымались над ним и опять замирали, и так до тех пор, пока что-то вдруг не разрывалось внутри

и Фишбейн проваливался в темноту с огнем во всем теле, и стоном, и криком.

Они выгрызали себе эту радость, как зверь выгрызает коренья из снега, и так было каждую Божию ночь.

2

Но если рассказывать, то по порядку.

Солдат Герберт Фишбейн, которого звали когда-то Григорием, сначала жил дома, на улице Пестеля. Семья состояла из мамы с отцом. Еще были дед, была бабушка, жившие не так далеко от них — в Царском Селе. Ему было только двенадцать, когда умерла его мама. У мамы был должен родиться ребенок, и все его ждали: отец, дед и бабушка. Сам Гриша старался об этом не думать, и вид изменившейся мамы с огромным ее животом его мучил. Ребенок родился. Когда акушерка, поднявшая руку, чтоб хлопнуть мальчика по спине, как положено, взглянула, скосивши глаза, на кровать, где стихли негромкие стоны родившей, она увидела, что Гришина мама лежит неподвижно и больше не дышит. А вечером умер и этот младенец, проживший на свете четыре часа. Никто не запомнил его. Когда хоронили дитя вместе с матерью, собравшиеся все смотрели на женщину и не понимали, как все же случилось, что это она, молодая и сильная, спокойно носившая плод, энергичная, лежит теперь в узком открытом гробу,

а рядом лежит нежно-белый комочек, примерзший к груди ее, как примерзает птенец к запорошенной мерзлой земле.

Маму с братом похоронили на Серафимовском кладбище, а в сорок первом, еще до начала войны, отец его, Цыпкин Олег, высоченный, весьма волевой человек, скончался от туберкулеза, поскольку работал тюремным врачом, а там было много чахоточных. И снова вокруг удивлялись, что смерть как будто повадилась в эту семью: врач Цыпкин казался здоровым и сильным, а тут вдруг, пожалуйста, туберкулез. Почти даже и не болел. А Гришу забрали к себе дед и бабушка. Войной вроде бы и не пахло, но бабушка вдруг распорядилась, чтобы они оба — внук с мужем — сменили фамилию, стали Нарышкины. Нарышкиной была Гришина бабушка, а дед был Фишбейном. Что она наговорила ему и почему дед согласился на ее просьбу, сначала не поняли. Нелепость бабушкиного решения была очевидна: все Царское Село знало Карла Иваныча Фишбейна, главного врача больницы имени Семашко, приветливого, широкоплечего, с лохматой седой бородой. Но дед с ней не спорил: теперь они жили для внука, и внуку могло повредить то, что дед был Фишбейн. Пусть будет Нарышкин.

Опять же и здесь — предыстория. Не побоявшись в свое время влюбиться в чернобородого и горбоносого Карла Фишбейна, встреченного ею в Швейцарии, где он учился медицине, а она, восемнадцати годов от роду, круглолицая и кареглазая, любовалась вместе с матерью

и старшей сестрой видами озера Леман, бабушка переехала к нему в студенческие номера, где стала Фишбейну гражданской женой. Потом они оба вернулись в Россию в разгаре войны. А тут революция. Карл Фишбейн остался жив чудом. Спасло то, что врач был хороший. Да, это одно и спасло. Подозрения властей, которые могли растереть бабушку в порошок за ее пышную дворянскую фамилию, она умирала рискованным образом: писала упорно в анкетах «дочь дворника бывших буржуев Нарышкиных, Потапа Игнатьева, который крещен был фамилией барина, Нарышкина Льва, только для издевательства. И все документы утеряны».

Достаточно было один раз взглянуть в ее карие глаза, обведенные благородными тенями, поймать ее смех и заметить к тому же, как медленным и очень плавным движением она поворачивает к собеседнику лицо свое под серебристой косой, уложенной пышно над выпуклым лбом, как тут же всем и становилось понятным: все ложь в этих мертвых и страшных анкетах.

Никого из ближних Нарышкиных в живых не осталось, а дальние сразу сбежали, уплыли, — вот так, как кузина, Нарышкина Леля, которая бросилась следом за мужем, а он, пораженец и белоподкладочник, работал таксистом в суровой Германии, и там они с Лелей осели на время, а после их след затерялся навеки.

Бабушке было совсем не до Лели, не до белоручки-таксиста, которому жизнь шею чуть не свернула, но он

изловчился и выскользнул прямо из теплых от крови ладоней судьбы. Какое-то время она их всех помнила: и Лелю, и мужа ее, неудачника. Но ей, обманувшей советскую власть, пришлось засучить рукава и пойти сперва санитаркой, потом медсестрой в больницу Семашко, где муж ее Карл работал тогда терапевтом.

Грише Цыпкину, их единственному, горячо любимому внуку, было пятнадцать лет, когда он, оставшись сиротой, перебрался к ним в Царское Село. Душа его не заживала от ран. Ночами он все вспоминал, как недавно зарыли в глубокую мерзлую землю умершую маму с несчастным младенцем, а бабушка в сбившемся черном платке кричала и плакала.

Война началась через несколько месяцев. Немцы заняли Царское Село в середине сентября, а уже в декабре повалил сыпняк. Дед, ставший Николаем Ивановичем Нарышкиным, продолжал работать в больнице, и из уважения к доктору, а также и неловкости перед ним, никто из больных и медперсонала не спрашивал, как это все получилось.

Бывший Карл Иваныч начал героически бороться с тифозной эпидемией, ночевал у себя в ординаторской, сурово следил за соблюдением санитарных норм в инфекционном отделении, но себя не уберег, заразился и умер, не проболев и недели. Никто не успел на него донести.

Зимой, вскоре после деда, погибла бабушка: попала под обстрел, пробираясь на рынок. Гриша жил один, ему

помогали соседи, но время было такое, что никто никому особенно помочь не мог. В начале весны его угнали в Германию.

Выходим, как к морю, где тонет корабль, к еще одной долгой и страшной войне, где люди, забыв обо всем, как шакалы, которым нужна только мертвая кровь, вцепились зубами друг в друга с тяжелым бессмысленным звуком, и он проглотил все веселые звуки, все прежние, чистые звуки природы.

Девственность свою Гриша Нарышкин потерял прямо в той теплушке, которая увозила его, лязгая и торопясь, в темную неизвестность с едва начавшими таять по возвышенностям неровными снежными сугробами. В нее, эту темноту, со сквозящими то там, то здесь белеющими бугорками, он сразу же и провалился, да так глубоко, как бывает с людьми, которые очень боятся увидеть все то, что сейчас предлагает им жизнь.

Ему казалось, что он катается на коньках, играет веселая музыка и гирлянды разноцветных огней покачиваются в морозном воздухе, а на поворотах особенно сильно в лицо ударяет холодный заснеженный ветер с Невы. Его затащило обратно в ту зиму, когда мама переваливалась по комнате со своим огромным животом и Грише разрешалось часами болтаться с друзьями по городу, ходить на каток, где он заглядывался на девочек, всегда непри-

ступных, в больших шароварах и вязаных шапочках. Он спал и во сне видел их, этих девочек, и Рио, нет Рита, да, да — Рио-Рита плескалась над ним, и хотелось смеяться. Вдруг он почувствовал горячую руку внизу живота. Гриша открыл испуганные глаза, такие же, как у покойного деда — большие, мохнатые, золото с дегтем, как мягкое брюшко огромной пчелы, — увидел лицо над собою. Чужое, большое лицо с непонятной улыбкой.

— Ну, что? Не боишься? — шепнула она. — Помочь? Или сам?

Наутро ему было стыдно и гадко, он старался не смотреть в сторону этой некрасивой, немолодой, широколицей женщины, к которой его начало вскоре очень сильно тянуть, словно какой-то магнит был зашит под ее кожей, и тянуло тем сильнее, чем меньше она обращала на него внимания. Несколько ночей подряд, пока их трясло, и бросало, и стучало, он не спал и исподтишка следил за ее хрипловатым шепотом, который переползал от одного парня к другому. Потом становился не шепотом — визгом и гадким, как будто бы липким, мурлыканьем.

Он знал ее имя: Алена Архипова.

Через четыре года война закончилась, и еще через несколько месяцев девятнадцатилетний Григорий Нарышкин по счастливому стечению обстоятельств оказался в Нью-Йорке, где стал в память деда Фишбейном.

Итак, он был Герберт Фишбейн, еврей, уцелевший в войне потому, что его русоголовая, на прямой пробор,

с карими, как у всех Нарышкиных, глазами бабушка звериным чутьем угадала, как можно спастись. А может, не в бабушке дело. Судьба была выжить.

Судьба зашвырнула его далеко от города с медленной дымной рекою, которая не забывалась, с дворцами, и город почти перестал быть живым, он стерся внутри его воспоминаний, и стерлась сама очередность событий. Родные хранились внутри его памяти, как будто в глубоких разрозненных лунках. Он видел отца, стоящего над гробом, где мама лежала в обнимку с младенцем, а снег шел на спины и лица собравшихся, и всем было холодно, кроме отца, который стянул с себя черную шапку и кашлял на снег и на желтую землю кровавыми, ярко блестящими сгустками. Потом был каток, и огни в темном небе, и тонкий, как проволока, звук полозьев, и мама, живая опять, волновалась, что Гриша ушел и не сделал уроки. Он помнил, что все они умерли, помнил, но память играла с ним в жмурки: она возвращала отца, маму, брата, которого он ни за что не узнал бы, случись им вдруг встретиться здесь, на земле. Во сне он боялся того, что и мама, и дед, и отец, и особенно бабушка — все живы, но брошены им, убежавшим, они погибают, а он их не ищет. Проснувшись наутро, он долго лежал, не в силах подняться, и сглатывал слезы.

До Нью-Йорка Григорий Нарышкин почти полтора года проработал помощником русского врача в американской зоне под Саарбрюккеном. Врач Петр Арсеньевич Ипатов был бывшим пленным и тоже ленинградцем.